

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог. ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ.....	7
------------------------------	---

Книга первая

Глава первая. УТРО.....	11
Глава вторая. УРОКИ.....	26
Глава третья. ПРАЗДНИК.....	44
Глава четвертая. НОЧЬ.....	54
Глава пятая. КАНИКУЛЫ.....	57
Глава шестая. СВИДАНИЕ.....	67
Глава седьмая. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.....	79
Глава восьмая. ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЕНИНА.....	95
Глава девятая. БОЛЕЗНЬ.....	104
Глава десятая. ИСПЫТАНИЯ.....	118
Глава одиннадцатая. ВОСКРЕСЕНЬЕ.....	134
Глава двенадцатая. ВЕСНА.....	147
Глава тринадцатая. ОТЪЕЗД.....	154
Глава четырнадцатая. МОСКВА.....	164
Глава пятнадцатая. КОНЕЦ ЛЕТА.....	170
Глава шестнадцатая. НОВАЯ ШКОЛА.....	185
Глава семнадцатая. НОВАЯ ЖИЗНЬ.....	195

Книга вторая

Глава первая. ПОХМЕЛЬЕ.....	211
Глава вторая. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.....	219
Глава третья. СЕМЬЯ.....	233
Глава четвертая. ОДЕССА.....	240

Глава пятая. ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ	255
Глава шестая. ЗИМА	271
Глава седьмая. СВОБОДА	285
Глава восьмая. НОВОСТИ	300
Глава девятая. НОВЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ	313
Глава десятая. КОМИТЕТ	327
Глава одиннадцатая. ИСКЛЮЧЕНИЕ	340
Глава двенадцатая. КОШМАРЫ	348
Глава тринадцатая. ПАРК ГОРЬКОГО	363
Глава четырнадцатая. МАТЬ	374
Глава пятнадцатая. БЕГСТВО	384

Книга третья

Глава первая. АРИТМИЯ	403
Глава вторая. ДЕНЬ ДО ОБЕДА	418
Глава третья. ХОРОШИЙ ВЕЧЕР	434
Глава четвертая. БЕССОННИЦА	446
Глава пятая. КОНТОРА	459
Глава шестая. КЛЮЧИ	480
Глава седьмая. СОСЛУЖИВЦЫ	492
Глава восьмая. КЛАДБИЩЕ	507
Глава девятая. ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ	529
Глава десятая. ПРОЩАНИЕ	547
Глава одиннадцатая. ПУТЕШЕСТВИЕ	560
Глава двенадцатая. ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ	580
Глава тринадцатая. ВСЁ ОБОШЛОСЬ	588
Эпилог. ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ	598

И идут дни за днями, сменяется
день ночью, ночь днем —
и не оставляет тайная боль
неуклонной потери их —
неуклонной и бесплодной,
ибо идут в бездействии,
все только в ожидании действия и — чего-то еще...

И идут дни и ночи, и эта боль,
и все неопределенные чувства и мысли,
и неопределенное сознание себя
и всего окружающего и есть моя жизнь,
не понимаемая мной.

Иван Бунин

Пролог

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Теперь, когда все уже ясно и кажется, что по-другому и не могло случиться, да и не имеет никакого значения, как могло бы случиться, потому что все уже произошло и будет идти дальше, как идет, и ничто не остановит эту колесницу, пока не изотрется ось, и не разлетится все к чертовой матери, и не рухнет вон с дороги в овраг, и не пронесется мимо новый экипаж, — теперь я пытаюсь понять, как же мы жили тогда, как доживаем теперь.

Мне, собственно, и делать-то уже больше нечего, кроме как пытаться понять. Им пока нет нужды, они еще гонят вовсю, не думая о силе трения, победившей нас и уже их предупреждающей еле слышным сквозь грохот гонки скрипом. Они уже знают, конечно, что трение побеждает всегда и на финиш приходит без соперников, но им не до этого, да и нет давно тормозов.

Я же хочу увидеть нас там, на скрывшемся в пыли старте, в бешенстве соперничества, на последних кругах, разглядеть очертания исчезнувшего навсегда и понять, на каком повороте вырывается вперед и уходит, увеличивая отрыв, будущий победитель — и когда переворачивается и, разбрасывая колеса, летит кверху тормашками в огне и грохоте.

Я просыпаюсь тяжело и лежу несколько минут, вспоминая, что еще жив — ночь прошла без сна, бодела, как всегда, нога, и только лиловый рассвет дал недолгий покой. Потом я откидываю одеяло и с отворачиванием рассматриваю в свете ночника рваные шрамы над левым коленом. Да, повезло — обе пули вошли в мягкое.

Натянув тренировочные штаны и сунув щетку в футляре в карман теплой куртки, тихо встаю и иду чистить зубы — дай бог здоровья моим ребятам, все платят и платят за приличную богадельню, на две комнаты сортир с душем. Ожидая очереди — послеинсультный сосед, с которым делим умывалку, встает рано и копается долго, а потом еще долго мычит, извиняясь, — я рассматриваю себя в высоком зеркале, за чем-то повешенном в нашем общем тамбуре. Огромный, нелепый, с косою бородой седыми клочками, становлюсь все больше похож даже не на Льва Толстого, а на глупый, несоразмерно большой памятник низкорослому графу. Бороду надо бы подстричь, да лень возиться, корячиться перед зеркалом, заглядывая искоса.

За седыми космами, за редким пухом вокруг плещи во всю голову, за глубокими складками и мелкими буажными морщинами вокруг набрякших подглазий, за косо выпирающим под самой грудью животом я пытаюсь разглядеть мальчишку, похожего на маленького японца, с тощими руками и ногами-палочками, юного пижона с блестящим пробритым пробором, огромного тяжелого мужика с неизменным выражением упрямого презрения к миру на уже слегка оплывшем лице...

Ничего не видно. Смотрит в зеркало, напряженно щурясь, высокий обрюзгший старик. Увидеть их всех удастся только ночью, лежа без сна с закрытыми глазами, прислушиваясь — спокойно ли дышит? — к исчезающей рядом жизни.

Что ж, дождусь ночи.

Книга первая

Глава первая

УТРО

Отцу Мишка не придавал большого значения. Планируя свои действия и оценивая их предполагаемые результаты, Мишка почти не учитывал возможность отцовского вмешательства в ход событий. С точки зрения практической мать была куда важнее, реально влияющие на жизнь вещи находились в полной ее власти. Притом представлялось совершенно очевидным, что сама по себе, в одиночку, мать существовать не может, она абсолютно зависит от присутствия в мире отца. Но зависимость эта была настолько же неявной, насколько естественной. Так живущий в современном мире человек зависит от подачи электричества, заводской выпечки хлеба и работы общественного транспорта, но не осознает этого в каждый миг, поскольку пока все идет нормально, он чувствует только свою подчиненность начальству, страдает от нехватки денег, боится сильных врагов и, если уже испытал, болезней, но никак не холода, тьмы, бескормицы, непроезжих пространств — словом, как раз того, что действительно страшно, не боится.

Отец, Леонид Михайлович Салтыков, работал заместителем главного инженера на производстве п/я 12, то есть на военном заводе при большом, всесо-

юзного значения лагере, а мать, Салтыкова Мария Ильинична, никем не работала, как почти все женщины в городке, сидела дома, варила любимый Мишкин суп из пестренькой фасоли, мыла дощатый, рыжей блестящей краской крашенный пол и читала книжки.

Утром Мишка выходил из дому вместе с отцом.

Начищенными до теплого блеска сапогами отец ступал, не выбирая куда, но грязь, тугая желтая глина, тяжелой каймой облеплявшая Мишкины галоши, на отцовы сапоги не цеплялась, он шел, будто по воздуху.

Обычно Мишка, рано встав, быстро умывшись (постоял в ванной, намочил зубную щетку, пригладил мокрой рукой челку, украшавшую почти наголо стриженную голову, помял мокрыми руками свежее вафельное полотенце) и надев лыжные байковые штаны-шаровары с застегивающейся манжетой внизу и двухцветную куртку-бобочку, низ из отцовых старых синих галифе, верх из материнной клетчатой серо-черной юбки, молния с поводком-цепочкой от какой-то износившейся тряпки еще из американских посылок (или серую, из тонкого «пионерского» сукна форму, китель со стоячим воротником и латунными пуговицами с гербом и длинные штаны со стрелкой, но форму Мишка не любил, потому что в школе тех, кто ходил в серой форме, называли фашистами, а те, кто ходил в школу из села, форму вообще никогда не носили, потому что у сельских на нее не было денег), до завтрака наблюдал процесс подготовки к этому выходу.

В полосатых лилово-кремовых пижамных штанах и голубой майке в рубчик с отвисшими от узких бретелек проймами отец босиком выходил на деревянную, еще сыроватую после мытья лестничную площадку и располагался там со всем имуществом — с заточенной щепкой для отдирания засохшей грязи с ранта и подошвы; с плоской, тяжело, с подковыриванием, открывавшейся круглой банкой подсохшего и от кра-

ев банки отошедшего гуталина; с вытертой и слипшейся щеткой для намазывания и пушистой, с хорошо отполированными желобками в ручке, расчисткой; с сапогами, которые нес за матерчатые петельки, вытасченные из голенищ. Чистка занимала ровно пятнадцать минут, не больше, но не меньше, и заканчивалась теплым сиянием, с которым от тупоносых головок и расправленных голенищ начинало исходить это самое тепло, не позволявшее грязи приставать к полированному хрому. Мышцы на тощих руках отца натягивались и сокращались, а под голубой вязкой майки дергались и сжимались, и сияние проступало, загоралось, начинало греть...

Потом сапоги, дружно свесив набок халявки, становились в угол прихожей, а отец садился на табуретку посреди кухни с кителем на коленях и соответствующим набором на краю кухонного стола — с прямоугольной фибровой дощечкой, прорезь в которой имела форму огромной и грубо воспроизведенной замочной скважины, пузырьком бурой взвеси под названием «асидол» и байковой тряпочкой, отрезанной от старой портянки. Правую переднюю полу кителя отец собирал в гармошку так, что все пять латунных пуговиц с выпуклыми звездами помещались в горсть, после чего каждая просовывалась в широкую часть прорези-скважины и сдвигалась в узкую, так что в конце концов все пять оказывались стиснутыми в ряд в узкой части прорези, отец ронял на каждую по капле асидола и начинал растирать его и полировать все вместе тряпочкой и доводить каждую пуговицу до блеска круговым движением, и зеленоватая латунь загоралась. В завершение еще влажной тряпочкой он проходил по майорским звездам на серебряных инженерских погонах и стряхивал выпавшие из асидола крупинки мела с ткани. Иногда после этого отец заставлял Мишку снять его китель и тоже начистить пуговицы.

Наступала очередь подворотничка. Резким и ровным рывком отец отдирал от куска чуть замахрившегося по краям полотна длинную и узкую полоску, ровно складывал ее по длине вдвое, со второй или третьей попытки вдергивал в иглу длинную белую нитку и непрерывным волнообразным движением в один момент приметывал ленту верхним краем, складкой, к сатиновой изнанке кительного воротника, так что ровно миллиметр оставался над воротником. Потом этот миллиметр врезался в навеки загорелую отцову шею, и уже никогда с тех пор Мишка не видел мужской одежды и мужской шеи красивее. А Мишке подворотничок пришивала мать с вечера.

Под конец сборов отец раскладывал на столе старый, истертый шинельный отрез, которым зимой укрывались для тепла поверх атласного одеяла в прошвенном пододеяльнике, нес с плиты маленький тяжелый утюг с обернутой ватином тонкой ручкой и приступал к бриджам. Синие коверкотовые — бо-стоновые полагались от полковника — бриджи лежали на столе распыленным гигантским цыпленком. Сначала отец через кусок марли отпаривал пузыри на узких коленях, потом переворачивал штаны задом кверху и долго водил над марлей, покрывавшей этот блестящий вытертый зад, утюгом в облаке огненного пара. Мишке брюки отец гладил, заглаживая бритвенно острую стрелку раз в неделю сам, чтобы Мишка утюгом не ошпарился.

Погладив брюки, отец сразу начинал одеваться. Мгновенно сбрасывал пижамные штаны и, оставшись в синих очень широких трусах, стоя, с невероятной ловкостью просовывал тонкие жилистые ноги в узкие нижние части бриджей, вздергивал их доверху, так что стеганый высокий корсаж долезал почти до подмышек, и стягивал его сзади вороненой зубастой пряжкой, прикусывавшей матерчатый хлястик. После этого, шлепая нижними завязками шта-

нин по полу, он шел к шкафу, брал из узкого бельевого отделения выстиранную и выглаженную матерью пару чистых портянок и садился обуваться на маленький, будто игрушечный венский стульчик, ранее принадлежавший Мишке, а теперь стоявший в прихожей.

Подложив уголок портянки под большой палец, он мигом оборачивал всю ногу поверх бриджей почти до колена полотном, так что получалась плотная и даже твердая упаковка (Мишка уже тоже почти так умел), подсовывал верхний кончик внутрь, закрепляя сделанное, и вбивал ноги по очереди в туго наползавшие голенища.

За все это время мать на кухне успевала пожарить на керогазе картошку тонкими, с заворачивающимся краем ломтиками и блестящие жирным тусклым блеском котлеты — отцу две, Мишке одну. На кухне стоял легкий синеватый масляный угар, на клеенку норвила присесть озверевшая поздняя муха, избежавшая липучки, винтом свешивавшейся с середины потолка, полные материны руки в сочинском, уже выцветшем загаре двигали тарелки, черная сковородка утверждалась на проволочной подставке. Отец и Мишка быстро завтракали, отец запивал чаем из большой своей кружки с украинскими цветами, а Мишка чаю не пил, только съедал два куса рафинаду.

Потом выходили из дому, переходили грязную дорогу, шли вдоль кирпичного забора с еще одним проволочным забором по верху кирпичной кладки, в небе. Сизое ледяное небо конца октября, рассеченное узловатыми линиями колючки, летело, уплывало, непрерывно меняя само себя, раздвигалось, обнаруживая новое небо — такое же.

За углом отец поворачивал к КПП, предварительно притронувшись к Мишкиному затылку под кепкой, над самой шеей, — прощался до вечера, а то и до конца недели, если была неделя дежурства, а Мишка шел

дальше, до конца забора, переходил еще одну дорогу, асфальтовую, по которой иногда шли колоннами машины, впереди «дождь три четверти» с брезентовой кабиной, потом «студебеккеры» с наглухо задраенными тентами длинных кузовов, потом еще два «дожда» и один командирский «ГАЗ-67», «козлик» с трубчатым каркасом, на который была натянута выцветшая брезентовая крыша, отчего машина почему-то напоминала Мишке аэроплан летчика Уточкина.

В коротких кузовах «доджей» ехали по восемь солдат с новыми удивительными автоматами — ствол без дырчатого кожуха, а как у карабина, штыки откидывающиеся, под прикладом ручка, как у нагана, а магазин длинный, плоский и изогнутый, как слоновий бивень. Автомат — Мишка однажды слышал — называется «ака».

Что везли в «студебеккерах», узнать было нельзя. Некоторые мальчишки говорили, что в них везут на смену заключенных, а другие считали, что секретные детали, из которых на заводе делают секретное оружие.

А из «козлика» отцу, улыбаясь во все сверкавшие мелкие зубы, отдавал честь знакомый капитан дядя Лева Нехамкин. Он прикладывал широкую руку к малиновому околышу голубой фуражки, а отец, стоя у проходной и приложив худые и кривоватые пальцы к черному бархатному, тоже улыбался, открывая длинные желтые зубы и даже темно-розовые десны, но смотрел не на капитана, а на Мишку, ждал, пока сын, пропустив колонну, перейдет дорогу и помчится, размахивая портфелем и серым сатиновым мешком для калош, в котором пока лежали тапочки для физры, уже по прямой к двухэтажному, из белого кирпича, бараку школы.

На крыльце школы, возле правого гипсового шара, скрываясь за ним от возможного взгляда из директорского окна, Мишку ждал Игорь Киреев. Круглое его, зеленовато-бледное от конопатин лицо, из

которого клювом высовывался длинный и острый, красный от вечной простуды нос, как всегда, выражало испуг и презрение одновременно.

— Шух не глядя, — говорил Киреев, спрятав обе руки за спину. Портфель и мешок со сменкой валялись у его ног, прислоненные к вымазанным глиной, маленьким, сшитым на заказ яловым сапогам — галош у него не было. В руках он мог держать что угодно: запрещенное для письма, поскольку без нажима, серо-стальное перо «рондо» или даже тоненькое чертежное; суставную телячью кость с залитым в просверленную посередине дырку свинцом — битую для игры в альчики, как по-местному назывались бабки; микроскопическую колесницу, скрученную из тонкой трансформаторной медной проволоки, с напряженной в нее посредством прокалывания спины проволочным крючочком мощной мухой, тихо жужжавшей и готовой к гонкам по парте... Словом, угадать было нельзя.

— С разменом, — на всякий случай осторожно отвечал Мишка, сжимая в левом кармане, чтобы, не дай бог, не вынуть как-нибудь нечаянно, немецкий складной ножик в серебряной чешуйчатой ручке, похожий на мелкую рыбку, вынешь — у Киреева потом обратно фиг разменяешь. В левом еще лежала немецкая лупа, а в правом болтались оловянный, немного облупленный солдат с розовым лицом под круглой зеленой каской с красной звездой и с оловянным аккуратеньким автоматом ППШ в оловянных, слишком коротких руках; серая резиновая пробка от пенициллинового пузырька, ни на что вообще-то не годная; черная лакированная трубочка без обеих, и для пера и для карандаша, пишущих вставок, но потому ценная еще более — она уже могла использоваться только по одному, главному назначению: чтобы плевать сквозь нее жеваной промокашкой или дробленным горохом, если его принести из дому... Мишка опускал